# Зулейха открывает глаза

**Автор:**
Гузель Яхина

Зулейха открывает глаза

Гузель Шамилевна Яхина

Проза: женский род

Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила факультет иностранных языков, учится на сценарном факультете Московской школы кино. Публиковалась в журналах «Нева», «Сибирские огни», «Октябрь».

Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь.

Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь.

Всем раскулаченным и переселенным посвящается.

Произведение принесло автору первую премию «Большой книги» 2015 года.

Гузель Яхина

Зулейха открывает глаза

Книга публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST Intl.

© Яхина Г. Ш.

© ООО «Издательство АСТ»

Любовь и нежность в аду

Этот роман принадлежит тому роду литературы, который, казалось бы, совершенно утрачен со времени распада СССР. У нас была прекрасная плеяда двукультурных писателей, которые принадлежали одному из этносов, населяющих империю, но писавших на русском языке. Фазиль Искандер, Юрий Рытхэу, Анатолий Ким, Олжас Сулейменов, Чингиз Айтматов… Традиции этой школы – глубокое знание национального материала, любовь к своему народу, исполненное достоинства и уважения отношение к людям других национальностей, деликатное прикосновение к фольклору. Казалось бы, продолжения этому не будет, исчезнувший материк. Но произошло редкое и радостное событие – пришел новый прозаик, молодая татарская женщина Гузель Яхина и легко встала в ряд этих мастеров.

Роман «Зулейха открывает глаза» – великолепный дебют. Он обладает главным качеством настоящей литературы – попадает прямо в сердце. Рассказ о судьбе главной героини, татарской крестьянки времен раскулачивания, дышит такой подлинностью, достоверностью и обаянием, которые не так уж часто встречаются в последние десятилетия в огромном потоке современной прозы.

Несколько кинематографичный стиль повествования усиливает драматизм действия и яркость образов, а публицистичность не только не разрушает повествования, но, напротив, оказывается достоинством романа. Автор возвращает читателя к словесности точного наблюдения, тонкой психологии и, что самое существенное, к той любви, без которой даже самые талантливые писатели превращаются в холодных регистраторов болезней времени. Словосочетание «женская литература» несет в себе пренебрежительный оттенок – в большой степени по милости мужской критики. Между тем женщины

лишь в двадцатом веке освоили профессии, которые до этого времени считались мужскими: врачи, учителя, ученые, писатели. Плохих романов за время существования жанра мужчинами написано в сотни раз больше, чем женщинами, и с этим фактом трудно поспорить. Роман Гузель Яхиной – вне всякого сомнения – женский. О женской силе и женской слабости, о священном материнстве не на фоне английской детской, а на фоне трудового лагеря, адского заповедника, придуманного одним из величайших злодеев человечества. И для меня остается загадкой, как удалось молодому автору создать такое мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду… Я от души поздравляю автора с прекрасной премьерой, а читателей – с великолепной прозой. Это блестящий старт.

Людмила Улицкая

# Часть первая

## Мокрая курица

### Один день

Зулейха открывает глаза. Темно, как в погребе. Сонно вздыхают за тонкой занавеской гуси. Месячный жеребенок шлепает губами, ища материнское вымя. За окошком у изголовья – глухой стон январской метели. Но из щелей не дует – спасибо Муртазе, законопатил окна до холодов. Муртаза – хороший хозяин. И хороший муж. Он раскатисто и сочно всхрапывает на мужской половине. Спи крепче, перед рассветом – самый глубокий сон.

Пора. Аллах Всемогущий, дай исполнить задуманное – пусть никто не проснется.

Зулейха бесшумно спускает на пол одну босую ногу, вторую, опирается о печь и встает. За ночь та остыла, тепло ушло, холодный пол обжигает ступни. Обуться нельзя – бесшумно пройти в войлочных кота не получится, какая-нибудь

половица да и скрипнет. Ничего, Зулейха потерпит. Держась рукой за шершавый бок печи, пробирается к выходу с женской половины. Здесь узко и тесно, но она помнит каждый угол, каждый уступ – полжизни скользит туда-сюда, как маятник, целыми днями: от котла – на мужскую половину с полными и горячими пиалами, с мужской половины – обратно с пустыми и холодными.

Сколько лет она замужем? Пятнадцать из своих тридцати? Это даже больше половины жизни, наверное. Нужно будет спросить у Муртазы, когда он будет в настроении, – пусть подсчитает.

Не запнуться о палас. Не удариться босой ногой о кованый сундук справа у стены. Перешагнуть скрипучую доску у изгиба печи. Беззвучно прошмыгнуть за ситцевую чаршау, отделяющую женскую часть избы от мужской… Вот уже и дверь недалеко.

Храп Муртазы ближе. Спи, спи ради Аллаха. Жена не должна таиться от мужа, но что поделаешь – приходится.

Теперь главное – не разбудить животных. Обычно они спят в зимнем хлеву, но в сильные холода Муртаза велит брать молодняк и птицу домой. Гуси не шевелятся, а жеребенок стукнул копытцем, встряхнул головой – проснулся, чертяка. Хороший будет конь, чуткий. Она протягивает руку сквозь занавеску, прикасается к бархатной морде: успокойся, свои. Тот благодарно пыхает ноздрями в ладонь – признал. Зулейха вытирает мокрые пальцы об исподнюю рубаху и мягко толкает дверь плечом. Тугая, обитая на зиму войлоком, она тяжело подается, сквозь щель влетает колкое морозное облако. Делает шаг, переступая высокий порог, – не хватало еще наступить на него именно сейчас и потревожить злых духов, тьфу-тьфу! – и оказывается в сенях. Притворяет дверь, опирается о нее спиной.

Слава Аллаху, часть пути пройдена.

В сенях холодно, как на улице, – кожу щиплет, рубаха не греет. Струи ледяного воздуха бьют сквозь щели пола в босые ступни. Но это не страшно.

Страшное – за дверью напротив.

Убырлы карчык – Упыриха. Зулейха ее так про себя называет. Слава Всевышнему, свекровь живет с ними не в одной избе. Дом Муртазы просторный, в две избы, соединенные общими сенями. В день, когда сорокапятилетний Муртаза привел в дом пятнадцатилетнюю Зулейху, Упыриха с мученической скорбью на лице сама перетаскала свои многочисленные сундуки, тюки и посуду в гостевую избу и заняла ее всю. «Не тронь!» – грозно крикнула она сыну, когда тот попытался помочь с переездом. И не разговаривала с ним два месяца. В тот же год начала быстро и безнадежно слепнуть, а еще через некоторое время – глохнуть. Спустя пару лет была слепа и глуха, как камень. Зато теперь разговаривала много, не остановить.

Никто не знал, сколько ей было на самом деле лет. Она утверждала, что сто. Муртаза недавно сел подсчитывать, долго сидел – и объявил: мать права, ей действительно около ста. Он был поздним ребенком, а сейчас уже сам – почти старик.

Упыриха обычно просыпается раньше всех и выносит в сени свое бережно хранимое сокровище – изящный ночной горшок молочно-белого фарфора с нежно-синими васильками на боку и причудливой крышкой (Муртаза привез как-то в подарок из Казани). Зулейхе полагается вскочить на зов свекрови, опорожнить и осторожно вымыть драгоценный сосуд – первым делом, перед тем, как топить печь, ставить тесто и выводить корову в стадо. Горе ей, если проспит эту утреннюю побудку. За пятнадцать лет Зулейха проспала дважды – и запретила себе вспоминать, что было потом.

За дверью пока – тихо. Ну же, Зулейха, мокрая курица, поторопись. Мокрой курицей – жебегян тавык – ее впервые назвала Упыриха. Зулейха не заметила, как через некоторое время и сама стала называть себя так.

Она крадется в глубь сеней, к лестнице на чердак. Нащупывает гладко отесанные перила. Ступени крутые, подмерзшие доски чуть слышно постанывают. Сверху веет стылым деревом, мерзлой пылью, сухими травами и едва различимым ароматом соленой гусятины. Зулейха поднимается – шум метели ближе, ветер бьется о крышу и воет в углах.

По чердаку решает ползти на четвереньках – если идти, доски будут скрипеть прямо над головой у спящего Муртазы. А ползком она прошмыгнет, веса в ней – всего ничего, Муртаза одной рукой поднимает, как барана. Она подтягивает ночную рубаху к груди, чтобы не испачкалась в пыли, перекручивает, берет

конец в зубы – и на ощупь пробирается между ящиками, коробами, деревянными инструментами, аккуратно переползает через поперечные балки. Утыкается лбом в стену. Наконец-то.

Приподнимается, выглядывает в маленькое чердачное окошко. В темно-серой предутренней мгле едва проглядывают занесенные снегом дома родного Юлбаша. Муртаза как-то считал – больше ста дворов получилось. Большая деревня, что говорить. Деревенская дорога, плавно изгибаясь, рекой утекает за горизонт. Кое-где в домах уже зажглись окна. Скорее, Зулейха.

Она встает и тянется вверх. В ладони ложится что-то тяжелое, гладкое, крупно-пупырчатое – соленый гусь. Желудок тотчас вздрагивает, требовательно рычит. Нет, гуся брать нельзя. Отпускает тушку, ищет дальше. Вот! Слева от чердачного окошка висят большие и тяжелые, затвердевшие на морозе полотнища, от которых идет еле слышный фруктовый дух. Яблочная пастила. Тщательно проваренная в печи, аккуратно раскатанная на широких досках, заботливо высушенная на крыше, впитавшая жаркое августовское солнце и прохладные сентябрьские ветры. Можно откусывать по чуть-чуть и долго рассасывать, катая шершавый кислый кусочек по нёбу, а можно набить рот и жевать, жевать упругую массу, сплевывая в ладонь изредка попадающиеся зерна… Рот мгновенно заливает слюна.

Зулейха срывает пару листов с веревки, скручивает их плотно и засовывает под мышку. Проводит рукой по оставшимся – много, еще очень много осталось. Муртаза не должен догадаться.

А теперь – обратно.

Она встает на колени и ползет к лестнице. Свиток пастилы мешает двигаться быстро. Вот ведь действительно – мокрая курица, не догадалась какую-нибудь торбу взять с собой. По лестнице спускается медленно: ног не чувствует – закоченели, приходится ставить онемевшие ступни боком, на ребро. Когда достигает последней ступеньки, дверь со стороны Упырихи с шумом распахивается, и светлый, едва различимый силуэт возникает в черном проеме. Стукает об пол тяжелая клюка.

– Есть кто? – спрашивает Упыриха темноту низким мужским голосом.

Зулейха замирает. Сердце ухает, живот сжимается ледяным комом. Не успела… Пастила под мышкой оттаивает, мягчеет.

Упыриха делает шаг вперед. За пятнадцать лет слепоты она выучила дом наизусть – передвигается в нем уверенно, свободно.

Зулейха взлетает на пару ступенек вверх, крепче прижимая к себе локтем размякшую пастилу.

Старуха ведет подбородком в одну сторону, в другую. Не слышит ведь ничего, не видит, – а чувствует, старая ведьма. Одно слово – Упыриха. Клюка стучит громко – ближе, ближе. Эх, разбудит Муртазу…

Зулейха перескакивает еще на несколько ступенек выше, жмется к перилам, облизывает пересохшие губы.

Белый силуэт останавливается у подножия лестницы. Слышно, как старуха принюхивается, с шумом втягивая ноздрями воздух. Зулейха подносит ладони к лицу – так и есть, пахнут гусятиной и яблоками. Вдруг Упыриха делает ловкий выпад вперед и наотмашь бьет длинной клюкой по ступеням лестницы, словно разрубая их мечом пополам. Конец палки свистит где-то совсем близко и со звоном вонзается в доску в полупальце от босой ступни Зулейхи. Тело слабеет, тестом растекается по ступеням. Если старая ведьма ударит еще раз… Упыриха бормочет что-то невнятное, подтягивает к себе клюку. Глухо звякает в темноте ночной горшок.

– Зулейха! – зычно кричит Упыриха на сыновью половину избы.

Так обычно начинается утро в доме.

Зулейха сглатывает высохшим горлом комок плотной слюны. Неужели обошлось? Аккуратно переставляя ступни, сползает по лестнице. Выжидает пару мгновений.

– Зулейха-а-а!

А вот теперь – пора. Третий раз повторять свекровь не любит. Зулейха подскакивает к Упырихе – «Лечу, лечу, мама!» – и берет из ее рук тяжелый, покрытый теплой липкой испариной горшок, как делает это каждый день.

– Явилась, мокрая курица, – ворчит та. – Только спать и горазда, лентяйка…

Муртаза наверняка проснулся от шума, может выйти в сени. Зулейха сжимает под мышкой пастилу (не потерять бы на улице!), нащупывает ногами на полу чьи-то валенки и выскакивает на улицу. Метель бьет в грудь, берет в плотный кулак, пытаясь сорвать с места. Рубаха поднимается колоколом. Крыльцо за ночь превратилось в сугроб, – Зулейха спускается вниз, еле угадывая ногами ступеньки. Проваливаясь почти по колено, бредет к отхожему месту. Борется с дверью, открывая ее против ветра. Швыряет содержимое горшка в оледенелую дыру. Когда возвращается в дом, Упырихи уже нет – ушла к себе.

На пороге встречает сонный Муртаза, в руке – керосиновая лампа. Кустистые брови сдвинуты к переносице, морщины на мятых со сна щеках глубоки, словно вырезаны ножом.

– Сдурела, женщина? В метель – нагишом!

– Я только горшок мамин вынесла – и обратно…

– Опять хочешь ползимы больная проваляться? И весь дом на меня взвалить?

– Что ты, Муртаза! Я и не замерзла совсем. Смотри! – Зулейха протягивает вперед ярко-красные ладони, плотно прижимая локти к поясу, – под мышкой топорщится пастила. Не видно ли ее под рубахой? Ткань промокла на снегу, липнет к телу.

Но Муртаза сердится, на нее даже не смотрит. Сплевывает в сторону, растопыренной ладонью оглаживает бритый череп, расчесывает взлохмаченную бороду.

– Есть давай. А расчистишь двор – собирайся. За дровами поедем.

Зулейха низко кивает и шмыгает за чаршау.

Получилось! У нее получилось! Ай да Зулейха, ай да мокрая курица! Вот она, добыча: две смятые, перекрученные, слипшиеся тряпицы вкуснейшей пастилы. Удастся ли отнести сегодня? И где это богатство спрятать? Дома оставить нельзя: в их отсутствие Упыриха копается в вещах. Придется носить с собой. Опасно, конечно. Но сегодня Аллах, кажется, на ее стороне – должно повезти.

Зулейха туго заворачивает пастилу в длинную тряпицу и обматывает вокруг пояса. Сверху опускает исподнюю рубаху, надевает кульмэк, шаровары. Переплетает косы, накидывает платок.

Плотный сумрак за окошком в изголовье ее ложа становится жиже, разбавляется чахлым светом пасмурного зимнего утра. Зулейха откидывает занавески, – все лучше, чем в темноте работать. Керосинка, стоящая на углу печи, бросает немного косого света и на женскую половину, но экономный Муртаза подкрутил фитилек так низко, что огонек почти не виден. Не страшно, она могла бы все делать и с завязанными глазами.

Начинается новый день.

Еще до полудня утренняя метель стихла, и солнце проглянуло на ярко заголубевшем небе. Выехали за дровами.

Зулейха сидит на задке саней спиной к Муртазе и смотрит на удаляющиеся дома Юлбаша. Зеленые, желтые, темно-голубые, они яркими грибами выглядывают из-под сугробов. Высокие белые свечи дыма тают в небесной сини. Громко и вкусно хрустит под полозьями снег. Изредка фыркает и встряхивает гривой бодрая на морозе Сандугач. Старая овечья шкура под Зулейхой согревает. А на животе теплеет заветная тряпица – тоже греет. Сегодня, лишь бы успеть отнести сегодня…

Руки и спина ноют – ночью намело много снега, и Зулейха долго вгрызалась лопатой в сугробы, расчищая во дворе широкие дорожки: от крыльца – к большому амбару, к малому, к нужнику, к зимнему хлеву, к заднему двору. После работы так приятно побездельничать на мерно покачивающихся санях – сесть поудобнее, закутаться поглубже в пахучий тулуп, засунуть коченеющие ладони в рукава, положить подбородок на грудь и прикрыть глаза…

– Просыпайся, женщина, приехали.

Громадины деревьев обступили сани. Белые подушки снега на еловых лапах и раскидистых головах сосен. Иней на березовых ветвях, тонких и длинных, как женский волос. Могучие валы сугробов. Молчание – на многие версты окрест.

Муртаза повязывает на валенки плетеные снегоступы, спрыгивает с саней, закидывает на спину ружье, заправляет за пояс большой топор. Берет в руки палки-упоры и, не оглядываясь, уверенно тропит дорожку в чащу. Зулейха – следом.

Лес возле Юлбаша хороший, богатый. Летом кормит деревенских крупной земляникой и сладкой зернистой малиной, осенью – пахучими грибами. Дичи много. Из глубины леса течет Чишмэ – обычно ласковая, мелкая, полная быстрой рыбы и неповоротливых раков, а по весне стремительная, ворчащая, набухшая талым снегом и грязью. Во времена Большого голода только они и спасали – лес и река. Ну и милость Аллаха, конечно.

Сегодня Муртаза далеко заехал, почти до конца лесной дороги. Дорога эта была проложена в давние времена и вела до границы светлой части леса. Потом втыкалась в Крайнюю поляну, окруженную девятью кривыми соснами, и обрывалась. Дальше пути не было. Лес заканчивался – начинался дремучий урман, буреломная чащоба, обиталище диких зверей, лесных духов и всякой дурной нечисти. Вековые черные ели с похожими на копья острыми вершинами росли в урмане так часто, что коню не пройти. А светлых деревьев – рыжих сосен, крапчатых берез, серых дубов – там не было вовсе.

Говорили, что через урман можно прийти к землям марийцев – если идти от солнца много дней подряд. Да какой же человек в здравом уме решится на такое?! Даже во времена Большого голода деревенские не смели преступать за границу Крайней поляны: объели кору с деревьев, перемололи желуди с дубов, разрыли мышиные норы в поисках зерна – в урман не ходили. А кто ходил – тех больше не видели.

Зулейха останавливается на мгновение, ставит на снег большую корзину для хвороста. Беспокойно оглядывается – все-таки зря Муртаза заехал так далеко.

– Далеко еще, Муртаза? Я уже Сандугач сквозь деревья не вижу.

Муж не отвечает – пробирается вперед по пояс в целине, упираясь в сугробы длинными палками и сминая хрусткий снег широкими снегоступами. Только облачко морозного пара то и дело поднимается над головой. Наконец останавливается возле ровной высокой березы с пышным наростом чаги, одобрительно хлопает по стволу: вот эту.

Сначала утаптывают снег вокруг. Потом Муртаза скидывает тулуп, ухватывает покрепче изогнутое топорище, указывает топором в просвет между деревьями (туда будем валить) – и начинает рубить.

Лезвие взблескивает на солнце и входит в березовый бок с коротким гулким «чах». «Ах! Ах!» – отзывается эхо. Топор стесывает толстую, причудливо изрисованную черными буграми кору, затем вонзается в нежно-розовую древесную мякоть. Щепа брызжет, как слезы. Эхо наполняет лес.

«И в урмане слышно», – тревожно думает Зулейха. Она стоит чуть поодаль, по пояс в снегу, обхватив корзину, – и смотрит, как Муртаза рубит. Далеко, с оттягом, замахивается, упруго сгибает стан и метко бросает топор в щепастую белую щель на боку дерева. Сильный мужчина, большой. И работает умело. Хороший муж ей достался, грех жаловаться. Сама-то она мелкая, еле достает Муртазе до плеча.

Скоро береза начинает вздрагивать сильнее, стонать громче. Выеденная топором в стволе рана похожа на распахнутый в немом крике рот. Муртаза бросает топор, отряхивает с плеч сучки и веточки, кивает Зулейхе: помогай. Вместе они упираются плечами в шершавый ствол и толкают его – сильнее, сильнее. Шкворчащий треск – и береза с громким прощальным стоном рушится оземь, поднимая в небо облака снежной пыли.

Муж, оседлав покоренное дерево, обрубает с него толстые ветки. Жена – обламывает тонкие и собирает их в корзину вместе с хворостом. Работают долго, молча. Поясницу ломит, плечи наливаются усталостью. Руки, хоть и в рукавицах, мерзнут.

– Муртаза, а правда, что твоя мать по молодости ходила в урман на несколько дней и вернулась целехонькая? – Зулейха распрямляет спину и выгибается в поясе, отдыхая. – Мне абыстай рассказывала, а ей – ее бабка.

Тот не отвечает, примериваясь топором к кривой узловатой ветке, торчащей из ствола.

– Я бы умерла от страха, если бы оказалась там. У меня бы тут же ноги отнялись, наверное. Лежала бы на земле, глаза зажмурила – и молилась бы не переставая, пока язык шевелится.

Муртаза крепко ударяет, и ветка пружинисто отскакивает в сторону, гудя и подрагивая.

– Но, говорят, в урмане молитвы не работают. Молись – не молись, все одно – погибнешь… Как ты думаешь… – Зулейха понижает голос: – …есть на земле места, куда не проникает взор Аллаха?

Муртаза широко размахивается и глубоко вгоняет топор в звенящее на морозе бревно. Снимает малахай, утирает ладонью раскрасневшийся, пышущий жаром голый череп и смачно плюет под ноги.

Опять принимаются за работу.

Скоро корзина для хвороста полна – такую не поднять, только волочь за собой. Береза – очищена от веток и разрублена на несколько бревен. Длинные ветви лежат аккуратными вязанками в сугробах вокруг.

Не заметили, как стало темнеть. Когда Зулейха поднимает глаза к небу, солнце уже скрыто за рваными клоками туч. Налетает сильный ветер, свистит и взвивается поземка.

– Поедем домой, Муртаза, опять метель начинается.

Муж не отвечает, продолжая обматывать веревками толстые связки дров. Когда последняя вязанка готова, метель уже волком завывает меж деревьев, протяжно и зло.

Он указывает меховой рукавицей на бревна: сначала перетаскаем их. Четыре бревна в обрубках бывших ветвей, каждое – длиннее Зулейхи. Муртаза, крякнув, отрывает от земли один конец самого толстого бревна. Зулейха берется за

второй. Сразу поднять не получается, она долго копошится, приноравливаясь к толстому и шершавому дереву.

– Ну же! – нетерпеливо вскрикивает Муртаза. – Женщина!

Наконец сумела. Обняв бревно обеими руками, прижавшись грудью к розоватой белизне свежего дерева, ощерившейся длинными острыми щепками. Двигаются к саням. Идут медленно. Руки дрожат. Лишь бы не уронить, Всевышний, лишь бы не уронить. Если упадет на ногу – останешься калекой на всю жизнь. Становится жарко – горячие струйки текут по спине, животу. Заветная тряпица под грудью промокает насквозь – пастила будет отдавать солью. Это ничего, только бы успеть ее сегодня отнести…

Сандугач послушно стоит на том же месте, лениво перебирая ногами. Волков этой зимой мало, субхан Алла, поэтому Муртаза не боится оставлять лошадь одну надолго.

Когда затащили бревно на сани, Зулейха падает рядом, скидывает рукавицы, ослабляет платок на шее. Дышать больно, словно бежала, не останавливаясь, через всю деревню.

Муртаза, не сказав ни слова, шагает обратно к дровам. Зулейха сползает с саней и тащится следом. Перетаскивают оставшиеся бревна. Потом вязанки из толстых ветвей. Затем из тонких.

Когда дрова уложены на санях, лес уже укрыт плотными зимними сумерками. У пня свежесрубленной березы осталась только корзина Зулейхи.

– Хворост сама принесешь, – бросает Муртаза и принимается закреплять дрова.

Ветер разыгрался не на шутку, сердито кидает облака снега во все стороны, заметая вытоптанные людьми следы. Зулейха прижимает рукавицы к груди и бросается по еле заметной тропинке в темноту леса.

Пока добиралась до знакомого пня, корзину уже замело. Отламывает с куста ветку, принимается бродить вокруг, тыкая прутом в снег. Если потеряет – плохо ей придется. Муртаза поругает и остынет, а вот Упыриха – та набранится

всласть, изойдет ядом, будет припоминать эту корзину до самой смерти.

Да вот же она, милая, лежит! Зулейха выволакивает тяжелую корзину из-под толщи сугроба и облегченно выдыхает. Можно возвращаться. Но куда идти? Вокруг свирепо танцует метель. Белые потоки снега стремительно несутся по воздуху вверх и вниз, окутывая Зулейху, пеленая, опутывая. Небо огромной серой ватой провисло меж острых вершин елей. Деревья вокруг налились темнотой и стали похожи друг на друга, как тени.

Тропы – нет.

– Муртаза! – кричит Зулейха, в рот швыряет снегом. – Муртаза-а-а!..

Метель поет, звенит, свиристит в ответ.

Тело слабеет, ноги становятся рыхлыми, будто сами из снега. Зулейха оседает на пень спиной к ветру, придерживая одной рукой корзину, а другой ворот тулупа. Уходить с места нельзя – заплутает. Лучше ждать здесь. Может ли Муртаза оставить ее в лесу? Вот бы Упыриха обрадовалась… А как же добытая пастила? Неужели зря?..

– Муртаза-а-а!

Из снежного облака выступает большая темная фигура в малахае. Крепко ухватив жену за рукав, Муртаза волочет ее за собой через буран.

На сани сесть не разрешает – дров много, лошадь не выдюжит. Так и идут: Муртаза спереди, ведя Сандугач под уздцы, а Зулейха следом, держась за задок и еле перебирая заплетающимися ногами. В валенки набился снег, но вытряхивать нет сил. Сейчас нужно – успевать шагать. Переставлять ноги: правую, левую, правую, левую… Ну давай же, Зулейха, мокрая курица. Сама знаешь: если отстать от саней – тебе конец, Муртаза не заметит. Так и замерзнешь в лесу.

А все-таки какой он хороший человек – вернулся за ней. Мог бы и оставить там, в чаще, – кому какое дело, жива она или нет. Сказал бы: заблудилась в лесу, не нашел – через день никто бы про нее и не вспомнил…

Оказывается, можно шагать и с закрытыми глазами. Так даже лучше – ноги работают, а глаза отдыхают. Главное – крепко держаться за сани, не разжимать пальцы…

Снег больно ударяет в лицо, забивается в нос и в рот. Зулейха приподнимает голову, отряхивает. Сама – лежит на земле, впереди – удаляющийся задок саней, вокруг – белая круговерть метели. Встает, догоняет сани, уцепляется покрепче. Решает не закрывать глаза до самого дома.

Въезжают во двор уже затемно. Сгружают дрова у поленницы (Муртаза наколет завтра), распрягают Сандугач, укрывают сани.

Подернутые густым инеем стекла на стороне Упырихи темны, но Зулейха знает: свекровь чувствует их приезд. Стоит сейчас перед окном и прислушивается к движениям половых досок: ждет, как они сначала вздрогнут от удара входной двери, а после пружинисто задрожат под тяжелыми шагами хозяина. Муртаза разденется, умоется с дороги, – и пройдет на половину матери. Он это называет поговорить вечерком. О чем можно разговаривать с глухой старухой? Зулейха не понимает. Но разговоры эти были долгими, иногда длились часами. Муртаза выходил от матери спокойный, умиротворенный, мог даже улыбнуться или пошутить.

Сегодня это вечернее свидание Зулейхе на руку. Как только муж, надев чистую рубаху, уходит к Упырихе, Зулейха набрасывает на плечи не просохший еще тулуп и выскакивает из избы.

Буран заметает Юлбаш крупным жестким снегом. Зулейха бредет по улице против ветра, наклонившись вперед низко, как в молитве. Маленькие окошки домов, светящиеся уютным желтым светом керосинок, еле проглядывают во тьме.

Вот и околица. Здесь, под забором последнего дома, носом к полю, хвостом к Юлбашу, живет басу капка иясе – дух околицы. Зулейха сама его не видела, но, говорят, сердитый очень, ворчливый. А как иначе? Работа у него такая: злых духов от деревни отгонять, через околицу не пускать, а если у деревенских просьба какая к лесным духам появится – помочь, стать посредником. Серьезная работа – не до веселья.

Зулейха распахивает тулуп, долго ковыряется в складках кульмэк, разматывая влажную тряпицу на поясе.

– Извини, что часто беспокою, – говорит она в метель. – Ты уж и в этот раз – помоги, не откажи.

Угодить духу – дело непростое. Знать надо, какой дух что любит. Живущая в сенях бичура, к примеру, – неприхотлива. Выставишь ей пару немытых тарелок с остатками каши или супа – она слижет ночью, и довольна. Банная бичура – покапризнее, ей орехи или семечки подавай. Дух хлева любит мучное, дух ворот – толченую яичную скорлупу. А вот дух околицы – сладкое. Так мама учила.

Когда Зулейха впервые пришла просить басу капка иясе об одолжении – поговорить с зират иясе, духом кладбища, чтобы присмотрел за могилами дочек, укрыл их снегом потеплее, отогнал злых озорных шурале, – принесла конфеты. Затем таскала орешки в меду, рассыпчатые кош-теле, сушеные ягоды. Пастилу принесла впервые. Понравится ли?

Она разлепляет слипшиеся листы и по одному бросает перед собой. Ветер подхватывает их и уносит куда-то в поле – покрутит-повертит, да и принесет к норе басу капка иясе.

Ни один лист не вернулся обратно к Зулейхе – дух околицы принял угощение. Значит – исполнит просьбу: потолкует по-свойски с духом кладбища, уговорит его. Будут дочки лежать в тепле, в спокойствии до самой весны. Говорить напрямую с духом кладбища Зулейха побаивалась – все-таки она простая женщина, не ошкеруче.

Она благодарит басу капка иясе – низко кланяется в темноту – и спешит домой, скорее, пока Муртаза от Упырихи не вышел. Когда вбегает в сени, муж еще у матери. Она благодарит Всевышнего – опахивает лицо ладонями – да, сегодня он действительно на стороне Зулейхи.

В тепле сразу накрывает усталость. Руки и ноги – чугунные, голова – ватная. Тело просит одного – покоя. Она быстро подтапливает остывшую с утра печь. Раскладывает на сяке табан для Муртазы, мечет на него еды. Бежит в зимний хлев, подтапливает печь и там. Задает животным, убирает за ними. Ведет

жеребенка к Сандугач на вечернее кормление. Доит Кюбелек, процеживает молоко. Достает с высоких киштэ мужнины подушки, взбивает (Муртаза любит спать высоко). Наконец можно уйти к себе, в запечье.

Обычно на сундуках спят дети, а взрослым женщинам полагается небольшая часть сяке, отделенная от мужской половины плотной чыбылдык. Но пятнадцатилетняя Зулейха была такого маленького роста, когда пришла в дом Муртазы, что Упыриха в первый же день сказала, воткнув в невестку тогда еще яркие изжелта-карие глаза: «Эта маломерка и с сундука не свалится». И Зулейху поселили на большом старом сундуке, обитом жестяными пластинами и блестящими выпуклыми гвоздями. С тех пор она больше не росла – переселяться куда-то не было необходимости. А сяке полностью занял Муртаза.

Зулейха раскладывает на сундуке матрас, одеяло, стягивает через голову кульмэк и начинает расплетать косы. Пальцы не слушаются, голова падает на грудь. Сквозь полусон слышит – хлопает дверь: возвращается Муртаза.

– Ты здесь, женщина? – спрашивает с мужской половины. – Затопи-ка баню. Мама хочет помыться.

Зулейха утыкает лицо в ладони. На баню нужно много времени. Да еще и Упыриху мыть… Где взять силы? Еще бы только пару мгновений вот так посидеть, не шевелясь. И силы придут… и она встанет… и затопит…

– Спать вздумала?! На телеге спишь, дома спишь. Права мама: лентяйка!

Зулейха вскакивает.

Муртаза стоит перед ее сундуком, в одной руке – керосинка с неровным огоньком внутри, широкий подбородок с глубокой ямкой посередине гневно напряжен. Дрожащая тень мужа закрывает полпечи.

– Бегу, бегу, Муртаза, – говорит хриплым голосом.

И бежит.

Сначала расчистить в снегу дорожку к бане (утром не чистила – не знала, что придется топить). Затем натаскать воды из колодца – двадцать ведер, Упыриха любит поплескаться. Растопить печь. Сыпануть орехов бичуре за скамью, чтобы не шалила, не гасила печь, не подпускала угара, не мешала париться. Вымыть полы. Замочить веники. Принести с чердака сушеных трав: череды – для омовения женских и мужских тайных мест, мяты – для вкусного пара; заварить. Расстелить чистый палас в предбаннике. Принести чистое белье – для Упырихи, для Муртазы, для себя. Не забыть подушки и кувшин с холодной питьевой водой.

Баню Муртаза поставил в углу двора, за амбаром и хлевом. Печь клал по современному методу: долго возился с чертежами в привезенном из Казани журнале, беззвучно шевелил губами, водя широким ногтем по желтым страницам; несколько дней укладывал кирпичи, то и дело сверяясь с рисунком. На казанском заводе прусского фабриканта Дизе заказал по размерам стальной бак – и поставил его точно на предназначенный крутой уступ, гладко примазал глиной. Такая печь и баню топила, и воду грела быстро, только успевай подтапливать, – загляденье, а не печь. Сам мулла-хазрэт приходил посмотреть, потом заказал для себя такую же.

Пока управлялась с делами, усталость спряталась куда-то глубоко, притаилась, скрутилась клубком – не то в затылке, не то в позвоночнике. Скоро вылезет – накроет плотной волной, собьет с ног, утопит. Но это когда еще будет. А пока: баня разогрелась – можно звать Упыриху мыться.

Муртаза входил к матери без стука, а Зулейхе полагалось долго и громко стучать ногами о пол перед дверью, чтобы старуха была готова к ее приходу. Если Упыриха бодрствовала, то чувствовала дрожание половых досок и встречала невестку суровым взглядом слепых глазниц. Если спала – Зулейха должна была немедленно выйти и зайти позже.

«Может, заснула?» – надеется Зулейха, старательно топоча у входа в избу свекрови. Толкает дверь, просовывает голову в щель.

Три большие керосиновые лампы в ажурных металлических подставках ярко освещают просторную комнату (Упыриха всегда зажигает их к вечернему приходу Муртазы). Отскобленные тонким ножом и натертые речным песком до медового сияния полы (Зулейха летом всю кожу на пальцах ободрала, начищая);

снежно-белые кружева на окнах – накрахмаленные так жестко, что можно порезаться; в простенках – нарядные красно-зеленые тастымал и овальное зеркало, такое огромное, что если Зулейха вставала перед ним, то отражалась вся, от макушки до пяток. Большие напольные часы сверкают янтарным лаком, латунный маятник отстукивает время медленно и неумолимо. Чуть потрескивает желтый огонь в высокой, крытой изразцами печи (ее Муртаза топил сам, Зулейхе не разрешалось притрагиваться). Паутинно-тонкая шелковая кашага под потолком обрамляет комнату, как дорогая рама.

В почетном углу – туре – на могучей железной кровати с литой узорной спинкой, утопая в холмах взбитых подушек, восседает старуха. Ноги ее в молочного цвета мягких кота, расшитых цветной тесьмой, стоят на полу. Голова, повязанная длинным белым платком по-старушечьи, по самые клочковатые брови, стоит на обвисшей мешком шее прямо и твердо. Высокие и широкие скулы подпирают узкие щели глаз, треугольные от косо нависающих с боков дряблых век.

– Так и умереть можно, дожидаясь, пока ты баню растопишь, – спокойно произносит свекровь.

Рот ее впал и морщинист, как старая гусиная гузка, зубов почти нет, но говорит четко, внятно.

«Как же, умрешь ты, – думает Зулейха, просачиваясь в комнату. – Еще на моих похоронах обо мне гадости рассказывать будешь».

– Но не надейся, я долго жить собираюсь, – продолжает та. Откладывает в сторону яшмовые четки, нащупывает рядом потемневшую от времени клюку. – Мы с Муртазой всех вас переживем, мы – крепкого корня и от хорошего дерева растем.

«Сейчас про мой гнилой корень скажет», – обреченно вздыхает Зулейха, поднося старухе длинную собачью ягу[1 - Род шубы, тулупа халатного покроя.], меховой колпак и валенки.

– Не то что ты, жидкокровая. – Старуха вытягивает вперед костлявую ногу, Зулейха осторожно снимает с нее мягкий, словно пуховый, кота и надевает высокий жесткий валенок. – Ни ростом, ни лицом не вышла. Может, конечно, между ног у тебя в молодости медом намазано было, да ведь и это место не

больно здоровым оказалось, а? Одних девок на свет принесла – и то ни одна не выжила.

Зулейха слишком сильно тянет за второй кота, и старуха вскрикивает от боли.

– Полегче, девчонка! Я правду говорю, сама знаешь. Кончается твой род, худокостая, вырождается. Оно и правильно: гнилому корню – гнить, а здоровому – жить.

Упыриха опирается о клюку, поднимается с кровати и сразу становится выше Зулейхи на целую голову. Задирает широкий, похожий на копыто подбородок, устремляет белые глаза в потолок:

– Всевышний послал мне нынче сон про это.

Зулейха накидывает ягу Упырихе на плечи, надевает меховой колпак, заматывает шею мягкой шалью.

Аллах всемогущий, опять сон! Свекровь редко видела сны, но те, что приходили к ней, оказывались вещими: странные, иногда жуткие, полные намеков и недосказанностей видения, в которых грядущее отражалось расплывчато и искаженно, как в мутном кривом зеркале. Даже у самой Упырихи не всегда получалось разгадать их смысл. Спустя пару недель или месяцев тайна обязательно раскрывалась – происходило что-то, чаще – плохое, реже – хорошее, но всегда – важное, с извращенной точностью повторявшее картину полузабытого к тому времени сна.

Старая ведьма никогда не ошибалась. В тысяча девятьсот пятнадцатом, сразу после свадьбы сына, ей привиделся Муртаза, бредущий меж красных цветов. Разгадать сон не сумели, но скоро в хозяйстве случился пожар, дотла сгорели амбар и старая баня – и отгадка была найдена. Через пару месяцев старуха видела ночью гору желтых черепов с крупными рогами и предсказала эпидемию ящура, который выкосил весь скот в Юлбаше. Следующие десять лет сны приходили сплошь печальные и страшные: детские рубашечки, одиноко плывущие по реке; расколотые надвое колыбельки; цыплята, утопающие в крови… За это время Зулейха родила и тут же похоронила четверых дочерей. Страшным было и видение про Большой голод в двадцать первом: свекрови явился воздух, черный, как сажа, – люди плавали в нем, как в воде, и медленно

растворялись, постепенно теряя руки, ноги, головы.

– Долго мы здесь еще потеть будем? – старуха нетерпеливо стучит клюкой и первая направляется к двери. – Хочешь распарить меня перед улицей и застудить?!

Зулейха торопливо прикручивает фитильки керосинок и спешит следом.

На крыльце Упыриха останавливается – на улицу одна не выходит. Зулейха подхватывает свекровь за локоть, – та больно вонзает длинные узловатые пальцы ей в руку, – и ведет в баню. Идут медленно, осторожно переставляя ноги по зыбучему снегу, – метель не утихла, и дорожка вновь наполовину заметена.

– Ты, что ли, снег во дворе чистила? – ухмыляется половиной рта Упыриха в предбаннике, позволяя снять с себя заснеженную ягу. – Оно и заметно.

Мотает головой, скидывает на пол колпак (Зулейха бросается подбирать), нащупывает дверь и сама входит в раздевальню.

Пахнет распаренными березовыми листьями, чередой и свежим влажным деревом. Упыриха садится на широкую длинную лавку у стены и застывает в молчании: разрешает себя раздеть. Сначала Зулейха снимает с нее белый платок в тяжелых бусинах крупного бисера. Потом просторный бархатный жилет с узорной застежкой на животе. Бусы – коралловую нить, жемчужную нить, стеклянную нить, потемневшее от времени увесистое монисто. Верхнюю плотную кульмэк. Нижнюю тонкую кульмэк. Валенки. Шаровары – одни, вторые. Пуховые носки. Шерстяные носки. Нитяные носки. Хочет вынуть из толстых складчатых мочек свекрови крупные серьги-полумесяцы, но та кричит: «Не касайся! Потеряешь еще… Или скажешь, что потеряла…» Перстни тусклого желтого металла на неровных морщинистых пальцах старухи Зулейха решает не трогать.

Одежда Упырихи, аккуратно разложенная в строго определенном порядке, занимает всю лавку – от стены и до стены. Свекровь внимательно ощупывает руками все предметы – недовольно поджимает губы, что-то поправляет, разглаживает. Зулейха быстро скидывает свои вещи на корзину с грязным бельем у входа и ведет старуху в парную.

Едва открывают дверь – их окатывает горячим воздухом, ароматом раскаленных камней и распаренного лыка. По лицу и спине начинает струиться влага.

– Поленилась нормально затопить, баня-то еле теплая… – цедит старуха, скребя бока. Забирается на самую высокую лэукэ, ложится на ней лицом в потолок, закрывает глаза, – отмокать.

Зулейха присаживается у заготовленных тазов и начинает разминать отмокшие веники.

– Плохо мнешь, – продолжает ворчать Упыриха. – Хоть и не вижу, а знаю: плохо. Ты ими возишь по тазу туда-сюда, как ложкой суп помешиваешь, а надо – месить, как тесто… И за что только Муртаза тебя, нерадивую, выбрал? Одним медом между ног всю жизнь сыт не будешь…

Зулейха, встав на колени, принимается месить веники. Телу сразу становится горячо, лицо и грудь взмокают.

– То-то же, – несется скрипучий голос сверху. – Хотела меня неразмятыми вениками побить, бездельница. А я не дам себя в обиду. И Муртазу моего тоже – не дам. Аллах мне для того и даровал такую длинную жизнь, чтобы его от тебя защищать… Кроме меня – кто вступится за моего мальчика? Ты его не любишь, не чтишь – только делаешь вид. Притворщица, холодная и бездушная, – вот ты кто. Я тебя чувствую, ой как чувствую…

А о сне – ни слова. Вредная старуха будет томить весь вечер. Знает, что Зулейхе не терпится услышать. Мучает.

Зулейха берет два сочащихся зеленоватой водой веника и поднимается к Упырихе на лэукэ. Голова входит в плотный слой обжигающего воздуха под потолком, начинает гудеть. В глазах мелькают разноцветные песчинки, летят, плывут волнами.

Вот она, Упыриха, совсем близко: простирается от стены и до стены, как широкое поле. Бугристые старческие кости торчат вверх, столетнее тело рассыпалось меж них причудливыми холмами, кожа висит застывшими оползнями. И по всей этой неровной, то изрезанной оврагами, то пышно вздыбленной долине текут, извиваются блестящие ручьи пота…

Парить Упыриху полагается с двух рук и обязательно начиная с живота. Зулейха сначала осторожно ведет веником, подготавливая кожу, потом начинает бить двумя вениками попеременно. На теле старухи тотчас появляются красные пятна, черные березовые листья брызжут во все стороны.

– И парить не умеешь. Сколько лет тебя учу… – Упыриха повышает голос, чтобы перекричать долгие хлесткие шлепки. – Сильнее! Давай же, давай, мокрая курица! Разогрей мои старые кости!.. Злее работай, бездельница! Разгоняй свою жидкую кровь, может, загустеет!.. Как же ты мужа своего любишь по ночам, если такая слабая, а? Уйдет, уйдет Муртаза к другой, которая крепче и бить, и любить будет!.. Я и то крепче ударить могу. Парь лучше – а не то ведь ударю! Схвачу за волосы и покажу, как надо! Я – не Муртаза, спуску не дам!.. Где же твоя сила, курица? Ты же еще не умерла пока! Или умерла?! – старуха уже кричит во все горло, приподнимая к потолку искаженное гневом лицо.

Зулейха размахивается что есть силы и рубит обоими вениками, как топором, по мерцающему в дрожащем паре телу. Прутья визжат, рассекая воздух, – старуха крупно вздрагивает, через живот и грудь пробегают широкие алые полосы, на которых темными зернышками взбухает кровь.

– Наконец-то, – хрипло выдыхает Упыриха, откидывая голову обратно на лавку.

В глазах темнеет, и Зулейха сползает по ступеням лэукэ вниз, на скользкий прохладный пол. Дыхание сбито, руки дрожат.

– Поддай-ка еще пару – и принимайся за мою спину, – командует Упыриха спокойно и деловито.

Слава Аллаху, мыться старуха любит внизу. Садится в огромный, до краев наполненный водой деревянный таз, аккуратно опускает в него длинные и плоские мешки грудей, висящие до пупа, и начинает милостиво протягивать Зулейхе по одной руки и ноги. Та трет их распаренным лыковым мочалом и смывает длинные катышки грязи на пол.

Настает черед головы. Две тонкие седые косицы, тянущиеся до бедер, нужно распустить, намылить и прополоскать, не задевая большие висячие серьги-полумесяцы и не заливая водой незрячие глаза.

Ополоснувшись в нескольких ведрах холодной воды, Упыриха готова. Зулейха выводит ее в раздевальню и начинает обтирать полотенцами, гадая, откроет ли ей старуха свой таинственный сон. В том, что сыну она все уже рассказала сегодня, Зулейха не сомневается.

Вдруг Упыриха больно тычет ее в бок вытянутым вперед корявым пальцем. Зулейха ойкает и отклоняется. Старуха тычет повторно. Третий раз, четвертый… Что это с ней? Не перепарилась ли? Зулейха отскакивает к стене.

Через пару мгновений свекровь успокаивается. Привычным жестом требовательно вытягивает руку, нетерпеливо ведет пальцами, – Зулейха вкладывает в них приготовленный заранее кувшин с питьевой водой. Старуха отхлебывает жадно, капли бегут по глубоким складкам от уголков рта к подбородку. Потом размахивается и с силой швыряет сосуд в стенку. Глина звонко дзынькает, разлетаясь на куски, по бревнам ползет темное водяное пятно.

Зулейха шевелит губами в краткой беззвучной молитве. Да что это сегодня с Упырихой, Аллах всемогущий?! Вот ведь разыгралась. Неужели умом тронулась от возраста? Зулейха пережидает немного. Потом осторожно приближается и продолжает одевать свекровь.

– Молчи-и-и-шь, – осуждающе произносит старуха, позволяя надеть на себя чистую исподнюю рубаху и шаровары. – Всегда молчишь, немота… Если бы кто со мной так – я бы убила.

Зулейха останавливается.

– А ты не сможешь. Ни ударить, ни убить, ни полюбить. Злость твоя спит глубоко и не проснется уже, а без злости – какая жизнь? Нет, не жить тебе никогда по-настоящему. Одно слово: курица…

…И жизнь твоя – куриная, – продолжает Упыриха, с блаженным вздохом откидываясь к стене. – Вот у меня была – настоящая. Я уже и ослепла, и оглохла – а все еще живу, и мне нравится. А ты не живешь. Поэтому не жалко тебя.

Зулейха стоит и слушает, прижав к груди валенки старухи.

– Умрешь ты скоро, во сне видела. Мы с Муртазой в доме останемся, а за тобой прилетят три огненных фэрэштэ и унесут прямиком в ад. Все как есть видела: и как хватают они тебя под руки, и как швыряют на колесницу, и как везут в пропасть. Я стою на крыльце, смотрю. А ты и тогда молчишь – только мычишь, словно Кюбелек, и глазищи свои зеленые выкатила, пялишься на меня, как безумная. Фэрэштэ хохочут, держат тебя крепко. Щелк кнутом – и разверзается земля, из щели – дым с искрами. Щелк – и полетели вы все туда, и пропали в этом дыме…

Ноги слабеют, и Зулейха выпускает из рук валенки, прислоняется к стене, медленно стекает по ней на тонкий палас, едва прикрывающий холод пола.

– Может, еще не скоро сбудется, – Упыриха широко и сладко зевает. – Сама знаешь: какие сны быстро исполняются, а какие – через месяцы, я уже и забывать их начинаю…

Зулейха кое-как одевает старуху – руки не слушаются. Упыриха это замечает, недобро ухмыляется. Потом садится на лавку, опирается решительно на клюку:

– Я с тобой сегодня из бани не пойду. Может, у тебя от услышанного разум помутился. Кто знает, что тебе в голову придет. А мне еще долго жить. Так что зови Муртазу, пусть он меня домой ведет и спать укладывает.

Зулейха, запахнув покрепче тулуп на распаренном голом теле, бредет в дом, приводит мужа. Тот вбегает в раздевальню без шапки, не стряхнув с валенок налипший снег.

– Что случилось, эни? – Подбегает к матери, обхватывает ее руки.

– Не могу… – вдруг ослабевшим голосом шелестит Упыриха, роняя голову на грудь сыну. – Не могу больше…

– Что?! Что?! – Муртаза падает на колени и принимается ощупывать ее голову, шею, плечи.

Трясущейся рукой старуха кое-как развязывает тесемки кульмэк на груди и тянет за ворот. В открывшемся проеме, на светлом треугольнике кожи темнеет

багровое пятно с крупными черными зернами спекшейся крови. Кровоподтек тянется за проем рубахи, вниз, к животу.

– За что? – Упыриха изгибает рот крутым коромыслом, из глаз ее выкатываются две крупные блестящие слезы и теряются где-то в мелко дрожащих морщинах на щеках; она припадает к сыну и беззвучно трясется. – Я ведь ничего ей не сделала…

Муртазу подбрасывает на ноги.

– Ты?! – рычит он глухо, буравя глазами Зулейху и ощупывая рукой стену около себя.

Под руку попадаются пучки засушенных трав, связки мочалок – срывает, отшвыривает. Наконец в ладонь ложится тяжелая ручка метлы – он ухватывает покрепче и замахивается.

– Не била я ее! – сдавленно шепчет Зулейха, отскакивая к окну. – Никогда, ни разу пальцем не тронула! Она сама попросила…

– Муртаза, сынок, не бей ее, пожалей, – раздается из угла дрожащий голос Упырихи. – Она меня не жалела, а ты ее – пожа…

Муртаза швыряет метлу. Черенок больно ударяет Зулейху в плечо, тулуп сваливается на пол. Валенки сбрасывает сама и юркает в парную. Дверь за ней с грохотом затворяется, гремит засов, – муж запирает ее снаружи.

Припав горячим лицом к маленькому запотевшему окошку, Зулейха сквозь танцующую пелену снега глядит, как муж и свекровь двумя высокими тенями плывут в дом. Как зажигаются и гаснут окна на стороне Упырихи. Как Муртаза тяжело шагает обратно в баню.

Зулейха хватает большой черпак и окунает в стоящий на печи таз с водой, от которого поднимаются вверх пышные клубы пара.

Опять гремит засов: Муртаза стоит в проеме двери в одном исподнем, в руке – все та же метла. Делает шаг вперед и закрывает за собой дверь.

Швыряй в него кипятком! Прямо сейчас, не жди!

Зулейха, часто дыша и держа перед собой черпак на вытянутых руках, шагает назад и упирается спиной в стену, ощущая лопатками крутую выпуклость бревен.

Муртаза делает еще один шаг и черенком выбивает черпак из рук Зулейхи. Подходит, рывком кидает ее на нижнюю лэукэ – Зулейха больно ударяется коленями и простирается на полке.

– Лежи смирно, женщина, – говорит он.

И начинает бить.

Метлой по спине – это не больно. Почти как веником. Зулейха лежит смирно, как и велел муж, только вздрагивает и царапает ногтями лэукэ при каждом ударе, – поэтому бьет он недолго. Быстро остывает. Все-таки хороший муж ей достался.

Потом она его парит и моет. Когда Муртаза выходит в раздевальню охолонуть, перестирывает белье. Самой вымыться уже нет сил – усталость проснулась, налила тяжестью веки, замутила голову, – кое-как ведет мочалом по бокам и ополаскивает волосы. Остается только вымыть полы в бане – и спать, спать…

Мыть полы была с детства приучена на коленях. «Согнувшись в поясе или присев на корточки только лентяи работают», – учила мать. Зулейха не считает себя лентяйкой – и сейчас трет склизкие темные половицы, скользя по ним ящерицей: припав животом и грудями к самому полу, низко наклонив чугунную голову и высоко подняв зад. Ее качает.

Скоро парная отмыта, и Зулейха перебирается в раздевальню: развешивает влажные паласы на тянущихся под потолком киштэ – пусть просохнут, собирает черепки разбитого недавно кувшина, принимается драить полы.

Муртаза все еще лежит на лавке – неодетый, завернутый в белую простыню, отдыхает. Взгляд мужа всегда заставляет Зулейху работать лучше, старательнее, быстрее, – пусть видит, что она неплохая жена, хоть ростом и не вышла. Вот и сейчас, собрав остатки сил и распластавшись по полу, она

исступленно возит тряпкой по чистым уже доскам – туда-сюда, туда-сюда; мокрые выбившиеся пряди болтаются в такт, неприкрытые груди елозят по половицам.

– Зулейха, – низко произносит Муртаза, глядя на голую жену.

Она разгибается в поясе, стоя на коленях и не выпуская из рук тряпку, но сонных глаз поднять не успевает. Муж обхватывает ее сзади и бросает животом на лавку, наваливается всем телом сверху, дышит тяжело, хрипит, начинает вдавливать, втирать в жесткие доски. Он хочет любить свою жену. Но тело его не хочет – разучилось слушаться его желаний… Наконец Муртаза встает с нее и начинает одеваться. «Даже плоть моя тебя не хочет», – бросает не глядя и выходит из бани.

Зулейха медленно поднимается с лавки, в руке – все та же тряпка. Домывает пол. Развешивает мокрое белье и полотенца. Одевается и бредет домой. Расстраиваться из-за случившегося с Муртазой нет сил. Страшное пророчество Упырихи – вот о чем она будет думать, но завтра, завтра… когда проснется…

В доме уже погас свет. Муртаза еще не спит – дышит на своей половине громко и бодро, доски сяке поскрипывают под ним.

Зулейха на ощупь пробирается в свой угол, ведя рукой по теплому шершавому боку печи, падает на сундук не раздеваясь.

– Зулейха-а-а, – громко зовет Муртаза; голос – довольный, ласковый.

Она хочет встать – и не может. Тело киселем растекается по сундуку.

– Зулейха!

Она сползает на пол, встает на колени перед сундуком, но оторвать от него голову не получается.

– Зулейха, мокрая курица, скорее!

Она медленно поднимается и, шатаясь, бредет на зов мужа. Заползает на сяке.

Муртаза нетерпеливыми руками спускает с нее шаровары (досадливо крякает – вот ведь лентяйка, еще не разделась!), укладывает на спину, задирает кульмэк. Его рваное дыхание приближается. Зулейха ощущает, как лицо накрывает длинная, еще пахнущая баней и морозом борода мужа, а недавние побои на спине ноют под его тяжестью. Тело Муртазы наконец откликнулось его желаниям, и он торопится исполнить их – жадно, сильно, долго, торжествующе…

Во время исполнения супружеского долга Зулейха обычно мысленно сравнивает себя с маслобойкой, в которой хозяйка сильными руками взбивает масло толстым и жестким пестом. Но сегодня эта привычная мысль не пробивается через тяжелое одеяло усталости. Сквозь пелену сна она еле различает сдавленные всхрипы мужа. Непрекращающиеся толчки его тела усыпляют, как мерно покачивающаяся телега…

Муртаза слезает с жены, отирая ладонью мокрый затылок и успокаивая сбившееся дыхание; дышит устало и довольно.

– Иди к себе, женщина, – толкает ее неподвижное тело.

Он не любит, когда она спит рядом с ним на сяке.

Зулейха, не открывая глаз, шлепает на свой сундук, но не замечает этого – она уже крепко спит.

## Стук в окно

Я умру?

За окном гудит темно-голубая пурга. Зулейха стоит на коленях и волосяной щеткой чистит кафтан Муртазы. Кафтан – главное украшение дома: стеганный войлоком, крытый бархатом, пахнущий крепким мужским духом, огромный, как его хозяин. Висит на толстом медном гвозде, лоснится пышными рукавами, милостиво позволяет щуплой Зулейхе ползать в ногах и счищать капли грязи с подола.

Я умру скоро?

Грязь в Казани жирная, добрая. Зулейха там не бывала – ни разу не выезжала из Юлбаша, только если в лес или на кладбище. А хотелось бы. Муртаза обещал как-нибудь взять с собой. Напоминать боялась, только смотрела на него каждый раз во время сборов долгим взглядом исподлобья. Он подтягивал упряжь на Сандугач, подбивал каблуком разболтанные колеса – делал вид, что не замечает.

Если умру – так и не увижу Казань?

Зулейха скашивает глаза на Муртазу. Тот сидит на сяке и починяет хомут. Пальцы с бурыми ногтями – жесткие и крепкие, как стволы молодых дубов, – ловко продевают скользкий кожаный ремень в деревянную основу. Только вернулся из города – и сразу за работу. Хороший муж, что говорить.

Если умру – он скоро женится на другой?

Муртаза довольно крякает: готово! Надевает хомут на могучую шею, проверяя крепость починки, – под крутым деревянным изгибом вздуваются толстые жилы. Да, такой женится, и очень скоро.

А вдруг Упыриха ошиблась?

Щетка Зулейхи шуршит. Шорх-шорх. Шорх-шорх. Шамсия – Фируза. Халида – Сабида. Первая и вторая дочь. Третья и четвертая. Она часто перебирает эти имена, как четки. Четыре смерти были предсказаны Упырихой. Зулейха одновременно узнавала от свекрови о своей беременности и о предстоящей смерти новорожденного. Четырежды вынашивала в чреве плод, а в сердце – надежду, что в этот раз Упыриха ошиблась. Но старуха каждый раз оказывалась права. Неужели права и сейчас?

Работай, Зулейха, работай. Как там мама говорила? Работа отгоняет печаль. Ох, мама, моя печаль не слушается твоих поговорок…

В окно стучат условленным образом: три быстрых стука, два медленных. Она вздрагивает. Показалось? И снова: три быстрых стука, два медленных. Нет, не

показалось, ошибки быть не может: стук тот самый. Щетка валится из рук, катится по полу. Зулейха поднимает глаза – встречается с тяжелым взглядом мужа. Алла сакласын, Муртаза, неужели опять?!

Он медленно снимает с шеи хомут, набрасывает на плечи тулуп, сует ноги в валенки. За ним хлопает дверь.

Зулейха бросается к окну, пальцами плавит лохматые узоры инея на стекле, припадает к дырочке глазом. Вот Муртаза приоткрывает ворота, борясь с начинающейся вьюгой. Из вихря белых хлопьев высовывает морду темный конь, запорошенный снегом всадник наклоняется из седла к Муртазе, шепчет что-то на ухо – и через мгновение вновь растворяется в метели, словно его и не было. А Муртаза идет обратно.

Зулейха бросается на пол, нащупывает укатившуюся щетку, утыкается носом в подол кафтана – не следует женщине выказывать излишнее любопытство, даже в такой миг. Протяжно воет дверь, впуская свежий морозный дух. Грузные шаги мужа медленно проплывают за спиной. Нехорошие шаги – медленные, усталые, словно обреченные.

Она припала грудью к холодному полу, лицом – к мягкому кафтану. Дышит мелко, беззвучно. Слышно, как громко трещит в печи огонь. Выждав немного, она слегка поворачивает голову: Муртаза сидит на сяке в тулупе и заснеженном малахае, кусты бровей сошлись на переносице, в них медленно гаснут искры крупных белых снежинок. Морщина глубоким рвом пролегла поперек лба, взгляд – остановившийся, неживой. И Зулейха понимает: да, опять.

И Алла, что же будет на этот раз? Она жмурится, опускает мгновенно вспотевший лоб к холодной половице. Чувствует влагу на полу – вода? Снег с валенок Муртазы тает и растекается по полу извилистыми ручьями.

Зулейха хватает тряпку и ползет на коленях, собирая воду. Утыкается теменем в твердые, словно железные, ноги мужа. Обхлопывает тряпкой талую воду вокруг, не смея поднять голову. На правую руку наступает большой колючий валенок. Зулейха хочет вырвать ладонь, но валенок камнем придавил пальцы. Она поднимает взгляд. Желтые глаза Муртазы – совсем рядом. В огромных, как вишни, зрачках пляшут отсветы огня.

– Не отдам, – шепчет тихо. – В этот раз – ничего не отдам.

Кислое дыхание обжигает лицо. Зулейха отодвигается. И чувствует, как другой валенок ложится на левую руку. Лишь бы пальцы не отдавил – как же работать без пальцев…

– Что будет-то, Муртаза? – лепечет она жалобно. – Сказали? Нынче – хлеб сдавать? Или скот?

– Твое какое дело, женщина? – шипит в ответ.

Берет ее косы и наматывает на кулаки. Глаза Зулейхи – у его горячего рта. В густых коричневых щелях между зубами блестят комочки слюны.

– Может, новой власти баб не хватает? Зерно уже взяли, скот тоже. Землю захотят – отберут. А вот с бабами – беда. – Слюна Муртазы брызжет Зулейхе на лицо. – Комиссарам красным топтать некого.

Он зажимает ее голову коленями. Ох и сильные у мужа ноги, даром что весь седой.

– Велено собрать всех баб и сдать председателю в сельсовет. Кто ослушается – в калхус запишут. Навечно.

Зулейха понимает наконец, что муж шутит. Только не знает, нужно ли улыбнуться в ответ. По его резкому тяжелому дыханию понимает – не нужно.

Муртаза отпускает голову Зулейхи. Убирает валенки с ее пальцев. Встает и потуже запахивает тулуп.

– Продукты спрячь, как всегда. – бросает коротко. – В схрон утром поедем.

Берет с сяке хомут и выходит вон.

Она сдергивает с гвоздя связку ключей, хватает керосиновую лампу, бежит во двор.

Тревоги не было уже давно, и многие стали хранить продукты по старинке, в подполах и амбарах, не пряча. Выходит – зря.

Амбар был заперт, на большом пузатом замке налип скользкий шар снега. Зулейха нащупывает ключом скважину, проворачивает один раз, второй – замок нехотя подается, раскрывает рот.

Скудный керосиновый свет освещает желтые, чисто оструганные бревенчатые стены и высокий потолок (там черным квадратом зияет лаз на сеновал), но не долетает до темнеющих вдали углов – амбар просторный, добротный, сделанный на века, как и все в хозяйстве Муртазы. Стены увешаны инструментами: хищными серпами и лезвиями кос, зубастыми пилами и граблями, тяжелыми рубанками, топорами и долотами, тупорылыми деревянными молотками, острыми вилами и гвоздодерами. Здесь же – конская упряжь: старые и новые хомуты, кожаные уздечки, заржавевшие и поблескивающие свежим маслом стремена, подковы. Несколько деревянных колес, долбленое корыто и сверкающий на изгибах, новенький медный лэгэн (спасибо Муртазе – привез из города пару лет назад). С потолка свисает растрескавшаяся детская колыбель. Пахнет затвердевшим на морозе зерном и холодным пряным мясом.

Зулейха помнит времена, когда плотные щекастые мешки с хлебом высились здесь до потолка. Муртаза ходил меж них – довольный, благостно улыбающийся – и без устали пересчитывал, кладя ладонь на каждый мешок трепетно, как на пышное женское тело. Не то теперь…

Она ставит керосинку на пол. Мешков – меньше, чем пальцев на руках. И каждый – худой, с дряблыми обвисшими боками. Рассыпать зерно из одного мешка по нескольким научились еще в девятнадцатом, как только подступила к Юлбашу тогда еще неведомая, но с каждым годом становившаяся все страшнее, как албасты, прожорливее, как дэв, ненасытнее, как жалмавыз, – продразверстка. Туго набитый мешок спрятать трудно, а найдут – все зерно разом пропало. То ли дело несколько тощих – и схоронить легче (по одному, в разных местах), и расставаться не так жалко. А еще – Зулейха могла таскать худые мешки без помощи Муртазы: хоть по одному, да управится, спрячет сама, пока он по соседям ходит и выясняет, что к чему.

Если бы не буран – многие деревенские потянулись бы сегодня вечером в лес. Там, под спасительным покровом еловых лап и трескучего валежника, у каждого

рачительного хозяина был свой тайник. И у Муртазы тоже был. Но в метель – куда поедешь? Одна надежда – на милость небес. Даст Аллах, до утра никто не придет.

Зулейха начинает прятать зерно и продукты.

Пару мешков схоронила тут же, в амбаре (подкоп в земляном полу у стены верно служит им десять последних лет). На сеновал нести побоялась – там многие прячут. Меченные белой краской драгоценные мешки с посевным зерном положила в тайное дно стального бака для воды в бане.

Теперь – очередь конины. Длинные, похожие на морщинистые пальцы конские кишки, плотно набитые темно-красным пряным мясом, гроздьями свисают с потолка. Ох и пахнут! Зулейха втягивает ноздрями терпкий соленый аромат кызылык. Колбасу лучше прятать в таком месте, где запаха не будет слышно. Летом можно было бы забраться на крышу и ровными рядами уложить на кирпичные приступки внутри дымовой трубы – ничего бы мясу не сделалось, только вкуснее пахло бы дымом. Но сейчас без Муртазы не залезть, крыша обледенела. Придется положить в доме, под половицей, надежно заперев в толстые железные ящики – от крыс.

Дальше – орехи. Твердые перекатистые шарики лещины стучат внутри скорлупок, как тысяча маленьких деревянных погремушек, пока она перетаскивает длинные узкие мешки из амбара в зимний хлев, укладывает на дно яслей и присыпает сеном. Корова и лошадь равнодушно смотрят на суету возле их кормушек. Жеребенок выглядывает из-под брюха Сандугач, косит любопытным глазом на хозяйку.

Соль, горох и морковную муку из подпола Зулейха укладывает на широкую полку под крышей нужника, прикрывает сверху досками.

Мед в больших деревянных рамах, обернутый в тонкие засахарившиеся тряпицы, – поднимает на чердак. Там же, под потолочными досками, прячет и соленого гуся, и ворохи задубевшей на морозе пастилы.

Остается спрятать последнее: пять десятков крупных, нежно белеющих из глубины берестяного туеса яиц, проложенных мягкой соломой.

Может, все-таки не придут?

Лихие гости, чувствующие себя на любом дворе как у себя дома; без спросу забирающие у хозяев последние съестные припасы и – самое ценное – тщательно отобранное и бережно хранимое посевное зерно для будущей весны; без секунды промедления готовые ударить, уколоть штыком, выстрелить в того, кто встанет на пути.

За четырнадцать тревожных лет Зулейха, скрываясь на женской половине от этих непрошеных гостей, наблюдала сквозь складки чаршау множество лиц: небритых и холеных, дочерна загорелых и аристократически бледных, с железнозубыми улыбками и строгими чопорными минами, бойко говорящих на татарском, русском, украинском, а также угрюмо молчащих о тех страшных истинах, что были начертаны ровными квадратными буквами на их тонких, затершихся на сгибах листах бумаги, которыми они то и дело норовили ткнуть Муртазе в нос.

У этих лиц было много имен, одно другого непонятнее и страшнее: хлебная монополия, продразверстка, реквизиция, продналог, большевики, продотряды, Красная армия, советская власть, губЧК, комсомольцы, ГПУ, коммунисты, уполномоченные…

Зулейхе сложно давались длинные русские слова, значения которых она не понимала, поэтому называла всех этих людей про себя – красноордынцами. Отец много рассказывал ей про Золотую Орду, чьи жестокие узкоглазые эмиссары несколько столетий собирали дань в этих краях и отвозили своему беспощадному предводителю – Чингисхану, его детям, внукам и правнукам. Красноордынцы тоже собирали дань. А кому отвозили – Зулейха не знала.

Сначала они забирали только хлеб. Потом картофель и мясо. А во времена Большого голода, в двадцать первом, начали сметать все съестное подчистую. И птицу. И скот. И все, что найдут в доме. Тогда-то Зулейха и научилась рассыпать зерно из одного мешка по нескольким.

Они не появлялись уже давно, Юлбаш успокоился. Во времена со смешным названием «НЭП» крестьянам дали спокойно обрабатывать землю, разрешили нанимать батраков. Казалось, давшая страшный крен жизнь опять выравнивается. В прошлом году советская власть неожиданно приняла

знакомый всем деревенским и оттого нестрашный образ: председателем сельсовета стал бывший батрак Мансур Шигабутдинов, пришлый, давно перетащивший за собой из соседнего кантона[2 - До середины 1930 года единицей административно-территориального деления Татарской АССР был кантон.] пожилую мать и живший с ней холостяком – злые языки шутили, что за всю жизнь он так и не сподобился накопить калым на хорошую невесту; за глаза его называли Мансуркой-Репьем. Мансурка сагитировал несколько человек в свою ящейку и встречался с ними по вечерам, что-то обсуждал. Устраивал собрания и горячо зазывал деревенских в товарищество со странным пугающим названием калхус, но его мало кто слушал – на собрания ходили такие же бедняки, как он сам.

И вот – опять: условный стук в ночи, как нервное биение нездорового сердца. Зулейха выглядывает в окно: в соседних домах горит свет – Юлбаш не спит, готовится к приходу незваных гостей…

Куда же спрятать эти яйца?! На морозе треснут – ни на чердак, ни в сени, ни в баню не отнесешь. Надо укрывать в тепле. На мужской половине нельзя – красноордынцы перевернут там все вверх дном, такое уже было не раз. На женской? Эти ироды не постесняются, обыщут все и там. Может, у Упырихи? Непрошеным гостям часто становилось не по себе от строгого невидящего взгляда старухи, и обыски в избе свекрови обычно бывали короткими, скомканными.

Зулейха осторожно подхватывает увесистый туес и выскакивает в сени. Нет времени долго топтаться у входа, спрашивая разрешения войти, – она отворяет дверь, заглядывает: Упыриха спит, утробно храпя и вперив раздвоенный подбородок в потолок, где причудливыми цветами распустились три светлых кружевных пятна – керосинки горят на случай, если Муртаза захочет сегодня вечером заглянуть к матери. Зулейха шагает через толстое бревно порога и юркает в запечье.

До чего же хороша здесь гостевая печь! Огромная, как дом, крытая гладкими, будто стеклянными, изразцами (даже с женской стороны!), с двумя глубокими котлами, которыми никогда не пользуются, – один для приготовления пищи, второй для кипячения воды – Зулейхе бы такие! Всю жизнь мучается с одним. Она ставит туес на приступку, снимает крышку с котла. Сейчас уложит яйца, присыплет соломой – и шасть обратно, к себе, никто и не заметит…

Когда Зулейха укладывает последнее яйцо, дверь со скрипом отворяется. Кто-то тяжелый переступает порог, натужно стонут половицы. Муртаза! Руку сводит от неожиданности – скорлупа еле слышно хрустит, и холодная скользкая жидкость медленно сочится сквозь пальцы. Сердце превращается в такой же вязкий кисель, как треснувшее в руке яйцо, стекает по ребрам куда-то вниз, к похолодевшему животу.

Выйти сейчас? Признаться, что без спросу проникла на половину свекрови? Повиниться за разбитое яйцо?

– Эни, – раздается низкий голос Муртазы. – Мама.

Храп старухи тотчас захлебывается и прерывается. Сетка кровати протяжно ноет – Упыриха поднимает свое большое тело, будто услышав зов сына.

– Жаным, – говорит она тихо, хриплым спросонья голосом. – Душа моя. Ты?

Звук грузно осевшего старухиного тела и глубокий вздох Муртазы повисают в долгой тишине.

Зулейха не дыша, осторожно вытирает скользкую от яйца ладонь о ребро котла. Обняв печь и обмирая при каждом движении, делает несколько бесшумных шагов в сторону, прислоняется щекой к теплым изразцам, указательным пальцем отодвигает складки чаршау. Теперь сквозь щелку в занавеске она отчетливо видит их – мать и сына: Упыриха сидит на кровати – очень прямо, как всегда, опустив ноги на пол, Муртаза стоит на коленях, уткнув бритую голову с проблесками седой щетины в живот матери и крепко обхватив ее большое тело. Зулейха никогда не видела Муртазу коленопреклоненным. Если выйти сейчас – не простит.

– Улым, – нарушает тишину Упыриха, – сынок. Чую, что-то случилось.

– Да, эни, случилось. – Муртаза говорит, не отрывая лица от материнского живота, и оттого голос его звучит тихо, как сквозь подушку. – И давно. Если бы ты только знала, что у нас творится…

– Расскажи старой матери все, Муртаза, мальчик мой. Пусть я не слышу и не вижу. Я все чувствую – и смогу тебя утешить. – Упыриха гладит сына по спине широко и спокойно, как ласкают, успокаивая, разгоряченных жеребцов после скачек.

– Как жить, мама? Как жить?! – Муртаза трется лбом о колени матери, глубже зарываясь в нее. – Грабят, грабят, грабят. Забирают все. Когда уже не остается у тебя ничего – хоть к праотцам отправляйся! – дают отдышаться. А придешь в себя, приподнимешь голову – опять грабят. Нет у меня больше мочи, а у сердца моего – терпения!

– Жизнь – сложная дорога, улым. Сложная и длинная. Иногда хочется сесть на обочине и вытянуть ноги – пусть все катится мимо, хоть в саму преисподнюю, – садись, вытягивай, можно! Ты для этого ко мне и пришел. Посиди со мной, отдохни, переведи дух. – Старуха говорит медленно, протяжно, словно поет или читает молитву под биение маятника в напольных часах. – Потом встанешь и пойдешь дальше. А сейчас – я чувствую, как ты устал, сердце мое, как сильно ты устал.

– Сегодня шепнули – опять что-то готовится. Хоть не просыпайся утром. Народ думает: или землю начнут отбирать, или скот, а то и все разом. Зерно посевное спрятали, а толку-то – если землю отберут? Где мне его сажать – на картофельном огороде?! Умру, зубами вцеплюсь – не отдам! Пусть в кулаки запишут – не отдам! Мое! – он ударяет кулаком по ребру кровати – та жалобно поет в ответ тонким металлическим голосом.

– Ты что-то придумаешь, знаю. Посидишь сейчас, поговоришь со мной – и придумаешь. Ты сильный, Муртаза, мальчик мой. Сильный и умный, как я была. – Голос старухи теплеет, молодеет. – У-у-у-у, какая я была… Твой отец, как увидел меня, слюни пустил аж до пояса и вытереть забыл, – так хотелось меня оседлать. Вы, мужики, как бараны – чуть кого посильнее себя видите, сразу хотите забодать, затоптать, победить. Вот дураки!

Она улыбается, сетка морщин на лице дрожит, играет в нежно-желтом керосиновом свете. Муртаза дышит ровнее, тише.

– Говорила я ему: не по себе яблоко рвешь, худоногий, зубы обломаешь! А он мне: у меня зубов много. Я ему: жизнь длинная, может и не хватить –

остерегись! Куда там – лишь раззадорила кобеля… – Упыриха глухо смеется, словно кашляет.

– Тем летом, когда играли в кыз-куу, Шакирзян только за мной и гонялся, как пес за течной сукой. Фартук для кыз-куу у меня был самый красивый в Юлбаше – черного бархата, с бисерными цветами (всю зиму расшивала!). А по груди… – старуха прижимает к впалой груди шишковатую длиннопалую руку, – …монисто в два ряда. Отец мне своего аргамака-трехлетку давал: вскочу в седло, монисто зазвенит – нежно, призывно – только меня парни и видели. Ой-йя-а-а-а… Шакирзян уж скачет-скачет, кобылу взмылит, сам красный от злости – а догнать не может.

Я как увижу вдали ореховую рощу – придержу немного аргамака, словно поддаюсь. Отец твой и рад – гонится как бешеный, думает: вот-вот настигнет. А я у самой рощи – хоп: каблуки сведу, аргамак стрелой – вперед, Шакирзяну – одна пыль в лицо достается. Прочихается – а я уже у рощи развернулась, камчу из сапога достала: теперь моя очередь! А камча-то – крепкая, плетеная, я на конце еще нарочно узел завязывала, чтобы больнее стегала. Ну, догоню его, как водится, отхлестаю вволю: не сумел девушку настичь – расплачивайся, получай! Насмеюсь, накричусь… Ведь так ни разу и не догнал – ни одного-единственного раза!

Упыриха вытирает тыльной стороной ладони слезинки в уголках глаз.

– Ох и досталось ему от меня тем летом! Всю оставшуюся жизнь припоминал: бил меня крепко, много, и камчой тоже. Завяжет на ней узел с кулак, огреет, как дубиной, – а я ему в лицо смеюсь: что, говорю, за мной повторяешь? Свое придумать – ума не хватает? Он – пуще злится, сильнее хлещет, аж задыхается, за сердце хватается… Так и не сумел меня сломать. Ну и где он теперь? Полвека червей кормит. А я две его жизни прожила и третью начала. Сила – она свыше дается.

Упыриха прикрывает белые глазницы.

– Ты – в меня, сынок, сердце мое. У тебя в жилах – моя кровь. Под мясом – мои кости. – Она гладит седые щетинки на бритой голове сына. – И сила в тебе – моя: злая, непобедимая.

– Мама, мама… – Муртаза сжимает тело матери сильно и хватко, как борец кереш обнимает противника, а любовник – тело желанной женщины.

– Только первый раз посмотрела на тебя – тельце красное, пальцы морщинистые, глаза еще слепые, – сразу поняла, что мой. Ничей больше – только мой. Десятерых родила для мужа, а последнего – для себя. Не зря пуповина была с руку толщиной. Бабка твоя еле ножом распилила. Не хочет, говорит, сынок от тебя отрываться. А ты и вправду не хотел – присосался к груди, вцепился в нее как клещ. Так и не отрывался – три года пил меня, как телок, от груди одни мешки остались. И спал со мною: сам уже огромный, тяжелый, на сяке раскинешься звездой, а ладошку – мне на грудь, чтобы никуда от тебя не делась. Шакирзяна даже близко ко мне не подпускал – орал как резаный. Тот ругался страшно, ревновал. А чем бы он тебя кормил во время голода, если бы у меня тогда в груди молока не было?!

– Эни, эни… – повторяет Муртаза глухо.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Род шубы, тулупа халатного покроя.

2

До середины 1930 года единицей административно-территориального деления Татарской АССР был кантон.

---

Купить: https://tellnovel.com/guzel-yahina/zuleyha-otkryvaet-glaza-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити